

**Я СТОЛКНУЛСЯ** с Григорием Гориним в подземном переходе на Тверской. Знакомы мы не были, но я сказал, что я из «МК», и уже через минуту в моих руках белела его визитная карточка, а через пару дней мы сидели за столом друг против друга.

— Наша страна была самой неулыбчивой страной в мире. Юмор — это прежде всего сигнал к комфортности. Ребенок, только появившийся на свет, улыбается, когда он поел и у него ничего не болит. Беда не в том, что у нас вообще не было улыбки, — она была, но искусственная, как и многое в нашей жизни. Нас благословила усмешка Ильича, сменившаяся ухмылкой Иосифа Виссарионовича, а ту в свою очередь перековали в бездумно-радостную улыбку советского человека. Я не могу сказать, правда она или хороша; она была противоестественна. Комедии, заметьте, возникли в самые страшные годы. Это было как бы предалкогольное возбуждение: расставили на столе бутылки, закуски никакой, неизвестно, что выпьют. Но они возбуждены, веселятся в предвкушении. Так вот, то была эйфория застолья. Потом оказалось, что напильник бормотухи, от которой болит голова, пища оказалась отравленной, к тому же подрались. Наступило тяжкое похмелье. А с похмелья человек редко улыбается — вот все мы и хмуры. И все-таки я стал замечать: когда люди заняты добрым, духовным делом — появляются улыбки. Я ходил на демократические митинги, там совершенно новое ощущение. Рассматриваешь лозунги, какой из них остроумней, и так далее... Это мой город, из которого я не хочу уезжать. Есть, кажется, такое понятие: малая родина. Я коренной москвич, живу в центре, у Пушкинской площади, это мой пятак. А когда возникает духовное родство — это самые счастливые минуты. Может быть, в первый раз я почувствовал это на похоронах Высоцкого. На Таганке собралась хорошая Москва, я не видел ни одного злого лица, хотя случилось горе — умер Володя. Ко мне подошел таксист, наверное, узнал — видел по телу: «Друг, проведи, мне ребята поручили...». Я протолкнул его к гробу, он положил цветы, что-то пошептал и ушел. Но я понял, что мы с ним родня, что он обратился ко мне как к земляку... Улыбка возникает тогда, когда все мы переболеем жутким похмельем, о котором я говорил.

— Григорий, мне кажется, слово «перестройка» уже стало анахронизмом. Тем не менее что же она такое с точки зрения драматурга? Каким будет финал этой пьесы?

— Конечно, это драма, а не трагедия. Она, перестройка, и происходит по законам драмы: есть экспозиция, развитие, кульминация, повороты судеб и финал, дающий, как правило, надежду. Я не думаю, что это трагедия, скажем, шекспировская, — с горой трупов, с полным отчаянием, а в конце приходит какой-то фортинбрас и помогает. Историю делает все-таки нечто запредельное — по Бердяеву или по другим философам. Мы должны понять смысл истории, осознать его, найти свое место в ней, но управлять ею мы не можем. Это мое глубокое убеждение, я в этом смысле человек религиозный. Финал драмы ясен и персонажу, и зрителю: все равно будет рынок, будет новое содружество наций, и никакие фарсовые игры в референдум, в социалистический выбор не спасут — это, повторяю, привнесение элементов фарса в серьезную драму. Часть персонажей этой пьесы в третьем акте уже не будет играть тех ролей, какие они играли в первом, а какие-то второстепенные персонажи станут главными. Финал драмы, каковой является перестройка, будет вселять надежду в сердца зрителей.

— Призыв Дмитрия Сергеевича Лихачева к самоочищению так и остался гласом вопиющего в пустыне...

— Я был в Дахау, в Германии. Меня поразило, что первые школьные уроки они проводят в концлагере. Не все немцы это поддерживают. Одни считают, что чувство чрезмерной вины способствует распаду нации. Другие видят в этих уроках путь к нравственному возрождению, и я с ними согласен. Школьникам говорят: «Вы дети великого народа. Шиллер, Гете, Фейербах — наши гении, но наш народ породил и низменное. Вот в этом лагере убивали невинных людей...» Германия из одной из самых тоталитарных стран превратилась в одну из самых демократических и нравственных. Мы же со своими Нюрнбергским процессом опоздали. Не следует уподобляться необольшевикам — желание быстро благодетельствовать или быстро измениться н е р е а л ь н о. Приведу вам пример со своими несчастными зубами. Начал

чуть-чуть, а оказалось, запущено, надо платить за все грехи: непрерывное курение, плохую пищу. Я думал, что за 5 дней все вылечу, но доктор меня спрашивает: «Вам быстро или хорошо?» — «Мне хорошо!» — «Тогда терпите и думайте о другом». Я и терплю, и думаю. Мне кажется, сейчас вся страна сидит с открытым ртом. Боль отчаянная, а надо отвлечься и думать о будущем. Грубая очень аналогия, но соответствует состоянию страны. Дело не в партии. Дело в большом народе, который и не жил при нормальной экономике.

— Позвольте, а что же было до 17-го года?

— Капитализм в России по-настоящему дышал лишь с 6-го по 17-й год, после того, как заработали столыпинские реформы. Их автор известен у нас как рефешель. Кого же он вешал? Люмпена, который в

— Я не знаю точного адреса, откуда это идет. По сути, по глубине, ни в одном народе нет ни антисемитизма, ни русофобства, ни как далее. В более примитивном варианте есть некая племенная неприязнь к чужаку. Это есть и у евреев по отношению к русским, и наоборот; и у татар — продолжать можно бесконечно. Я никогда не понимал, отчего мы так радостно отмечаем юбилей битвы на Калке, — у нас в школе было несколько ребят — татар; я всегда ставил себя на их место и недоумевал, как учителя могут быть столь бестактны. Ведь можно объяснить, что это было взаимное бескультурье — один народ шел на другой. Но нас учили: татарское иго погубило Россию... И сидели ребята-татары, не зная, как на это реагировать. Потом уже мне рассказали анекдот: учительница спрашивает, почему в России плохо живут? Ученик отвечает: потому что

ство, мой юмор оказались близкими и важными. А что касается запретов, и они были: сняли с постановки «Банкет» — нашу с Аркановым пьесу; «Свифта» мучили три года. Но что стоят такие жалобы в сравнении с тем, что люди сидели в лагерях, страдали? Мой жанр позволял мне иногда проскальзывать, другие клали руки на стол. Теперь они пожирают урожай своей литературы, мне же из стола достать нечего. Если судить себя беспощадно, можно дойти до самоубийства. Да, в застойные годы я не делал подлостей, но и смелости не делал. Когда в 68-м году произошло вторжение в Чехословакию, мы с Окуджавой не пошли на собрание, где должна была приниматься одобряющая резолюция. Это был максимум нашего протеста. Было бы донкисотством прийти на общее собрание, потом встать и демонстративно уйти. Смелость заключа-

зывает: «Пришел как-то к Андриюше, застал у его могилы группу, и экскурсовод механически говорила: «Вот Андрей Мионов, у него было две жены, от первой, Екатерины Градовой, осталась дочка Маша, а у второй — Ларисы Голубкиной — тоже была дочка Маша, и он ее удочерил, и сюда часто приходят его друзья». И вдруг она повернулась, увидела меня и запнулась. Публика тоже повернулась, и я понял, что выполняю какую-то жуткую роль, что я уже вроде экспоната»...

После смерти Андрея мы, его друзья, стараемся не растерять друг друга. Это Игорь Кваша, кстати, верный подписчик «Московского комсомольца». Это Шура Ширвиндт, писатель Аркадий Хайт, Марк Захаров. И, конечно, Люда Максакова. Вместе мы собираемся в день рождения Андрея, да и не только. Как сказал Шура Ширвиндт: «Друзьями надо заниматься».

— Встречались ли вы с нашими вождями? Среди них есть ваши персонажи?

— Мне повезло, — с нашими вождями я не встречался. Правда, когда-то, давно, долго беседовал с Анатолием Ивановичем Лукьяновым. В том случае он выступал в благородной роли спасителя Дома Пастернака. Будучи правой рукой Черненко, он приехал в Переделкино, чтобы спасти этот Дом. И появилась резолюция Черненко: «Дом сохранить», тем не менее через неделю наследников Пастернака вызвали в суд и приказали Дом освободить. Видимо, какие-то силы, я думаю, они были связаны с КГБ, оказались сильнее Черненко... Других встреч с вождями не было. Но на «Поминальной молитве» в Ленкоме побывали многие депутаты, занявшие потом высокие посты: от Попова и Собчака до Ельцина и других. Вся демократическая группа держалась этого театра, и я очень рад этому. Раньше посещение театра аппаратчиками было большой бедой. После спектаклей обычно бывал банкет, его запретили после посещения театра Фурцевой. Гришин, кто-то еще приезжали даже со своим буфетом...

— Вы пишете пьесы — так называемую большую форму. А малая форма — анекдоты — вас не привлекала? Теперь, говорят, можно сознаться, не боясь, что привлекут автора...

— Некоторые анекдоты так плотно вошли в мою жизнь, что мне казалось, что придумал их я. Но вот действительно сочиненный мной анекдот, вернувшийся ко мне.

Еврей — бизнесмен, просидевший в тюрьме 20 лет, вошел в дом и сразу спросил: «Мне тут никто не звонил?» Из фраз, что стали крылатыми: «У нас в кустах тут случайно стоит роля». Был еще у меня такой персонаж Кравцов, выехал на свежий воздух и стал задыхаться. Его подтащили к выхлопной трубе, он отдышался... Есть элемент хорошего тщеславия, когда, скажем, тебе таксист что-то рассказывает и говорит: народ придумал, а автор — ты.

— Ближится праздник — 1-е апреля, перенесенный в этом году Кабинетом министров на 2-е. Как вы относитесь к этому переносу?

— Повышение цен не выглядит трагическим — не потому, что я очень уж обеспеченный человек, а потому, что оно уже произошло. Открывается полуконъюнктурная сторона дела: сейчас яйца по 3 рубля, а нам сообщают, что они будут по 2 — значит, это снижение цен. Либо яиц не будет вообще... Смотрите, у Щедрина есть замечательная фраза, что спасение России в плохом исполнении плохих указов? Ну, приняли решение о стабилизации цен. Я думаю, сама жизнь их построит: что-то подорожает, что-то, как ни странно, подешевеет, ведь рынок — это нечто живое. Один западный философ сказал грандиозную вещь: социализм надо строить, а капитализм только разрешить. Это так мудро и так просто! Задача лишь в том, чтобы помочь бедным и слабым. Эта власть сделала кое-какие послабления — отменила цензуру. «Московский комсомолец» выдерживает конкуренцию — его нет в свободной продаже. А посмотрите, какие газеты и журналы лежат в киосках: и секс-газеты, и для домохозяек, и детективы. А ведь запрет лишь чуть-чуть снят! А какие книги продают в подземных переходах! Оказалось, что проблемы-то не было. Ее выдумали государственные мужи, которые сидели по кабинетам и думали: как дать народу книги? Дайте кооператорам свободу, они вам напечатают все! Дорогие книги? Будут дешевле. Цветами заполнили эту несчастную страну. Голодная страна утопает в розах. Больше всего я ненавижу, когда говорит секретарь обкома с раздутыми щеками: «Я должен подумать, как накормить страну». Я прошу: уйди, дорогой, не думай! Только не мешай! У нас от Президента до министра — все ломают головы. Очередной генерал в Верховном Совете заявил: «Кончайте болтать, скоро сев!» Представляю, Макнамара или Шварцкопф встал бы в Конгрессе и сказал: «Давайте подумаем, как кукурузу сеять?» Убили бы Или сказали: «Он сумасшедший, его надо отлучить, изолировать!» У нас же генерал, при погоне, вместо того, чтобы думать, как сделать, чтобы очередной Руст не приземлялся на Красной площади, думает о посевной. Мы — великая страна, в данном случае — по занятию большинства не своим делом. И мы — веселая страна, нам нельзя ходить с хмурыми лицами — вот что я хотел сказать читателям.

Вел беседу Владимир НУЗОВ.

# ТЯЖКОЕ ПОХМЕЛЬЕ

Моск. комсомолец - 1991 - 30 марта

первый же день начал жечь богатых фермеров. Долго живший в общинном строе, бедный мужик рассматривал всякое обогащение соседа как грабег его, мужика; и пускал красного петуха. Столыпин, как умный человек, первое, что сделал, это поставил городского защищать собственника. И если бы сегодня Михаил Сергеевич с Валентином Сергеевичем поступили аналогично — поставили милиционера охранять собственника... Заработал Тарасов 200 миллионов, они должны были ему сказать: заработай 500! Сейчас же все — от милиционера до люмпена — натравливаются на собственника.

— От этого бывает страшновато?..

— Я перестал бояться. Они настолько мне надоели, те, кто пугают гражданской войной, катаклизмами, что уже недостойно бояться, бежать, суетиться. Если придут ко мне с пистолетами, я одного уложу, остальные уложат меня. Или они меня выгонят, я уеду. Но обременять свою жизнь ощущением страха... Мне сказала замечательная писательница Лидия Либединская: «Я всегда боялась, мы все боялись, что придут тайно и увезут. А сейчас придут открыто, и одного можно уложить бутылкой по башке. А потом будем разбираться, кто прав». Это все-таки другое ощущение, и его надо ценить — ощущение свободы. Надо кончать бояться, они это сразу чувствуют. Они — я говорю о них не как Невзоров: «наши» — не «наши». Но они — это старое выражение, мы знаем, когда мы говорим: «они». Поэтому они так активно призывают: не ходите на митинги — там возможны эксцессы. Не, не, не! Они понимают, что процесс неостановим. Это понимает даже наша великая Коммунистическая партия, которая тут же бросилась в коммерческую деятельность. Работали на идеологии — не проходит, давайте поторгуюм... Но этому тоже надо учиться. На обмане — проторгуешься.

— ВАШ псевдоним от «горя» или «горения»? И вообще — давайте поговорим на эту тему...

— Моя фамилия по отцу Офштейн, она трудно выговаривается, а в те годы, когда я начал писать, выговаривалась совсем плохо. И к тому же я из медицинской семьи и никогда не забуду, как в 52-м году, во время «дела врачей», учительница пришла в класс и сказала: «Дети, евреи хотели убить и отравить товарища Сталина. Но это не значит, что надо плохо относиться ко всем евреям. Вот у нас сидят Гриша Офштейн и Яша Фельдман — вы не должны к ним плохо относиться». Писать я начал рано — в 12 лет появились стихи под настоящей фамилией. Но потом, работая на радио, я стал постепенно превращаться в безымянного автора — как автор «Слова о полку Игореве». Моя фамилия не появляется в эфире — трудно, понимаете, ее выговаривать. Поэтому возник псевдоним — от горя, горы, горения — как хотите. Войнович позже шуточно расшифровал псевдоним: «Григорий Офштейн решил изменить национальность». Конечно, это не так, но по сути верно. Потом я так соросся со своей фамилией, что даже паспорт мне выдали уже на Горина.

— Основная мысль «Поминальной молитвы», как я ее понял: в народе нет ни русофобства, ни антисемитизма. Значит, это идет сверху?

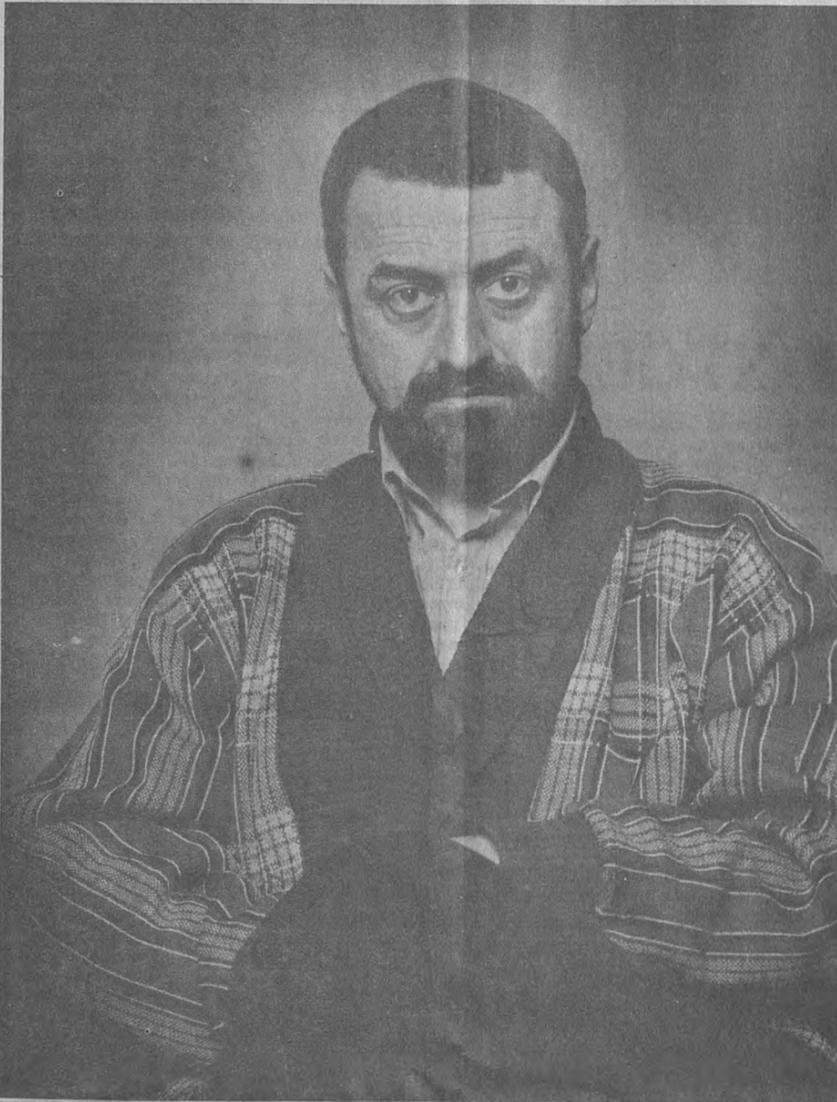


Фото Валерия ПЛОТНИКОВА.

## Писатель Григорий ГОРИН: «Когда возникает духовное родство, это самые счастливые минуты»

у нас 300 лет было татаро-монгольское иго. Встает другой мальчик, татарин, и спрашивает: «А почему же тогда татары тоже плохо живут?». Всякая недоговоренность по этому вопросу — это скрытая форма межнациональной розни.

— Как вам работало в застойные годы? Что печатали, ставили, что — нет?

— Вы знаете, в застойные годы мне работало хорошо. Самой природой мне, по-видимому, даны какие-то такие способности: чем жестче пресс, тем больше сопротивление. Один мой друг заметил даже: как ни парадоксально, но тоталитарный строй способствует твоему творчеству. У меня и герой возник свой — от Мюнхгаузена до Свифта — человек, не принимающий среды, не участвующий во всеобщей лжи. Для многих людей мое творче-

ство, мой юмор оказались близкими и важными. А что касается запретов, и они были: сняли с постановки «Банкет» — нашу с Аркановым пьесу; «Свифта» мучили три года. Но что стоят такие жалобы в сравнении с тем, что люди сидели в лагерях, страдали? Мой жанр позволял мне иногда проскальзывать, другие клали руки на стол. Теперь они пожирают урожай своей литературы, мне же из стола достать нечего. Если судить себя беспощадно, можно дойти до самоубийства. Да, в застойные годы я не делал подлостей, но и смелости не делал. Когда в 68-м году произошло вторжение в Чехословакию, мы с Окуджавой не пошли на собрание, где должна была приниматься одобряющая резолюция. Это был максимум нашего протеста. Было бы донкисотством прийти на общее собрание, потом встать и демонстративно уйти. Смелость заключа-

— Андрей Миронов был вашим близким другом... Вышел фильм «Андрей».

— Идея фильма заняла четверть страницы. С нею я и пришел к режиссеру Габриловичу. Андрей задолжал концерт зрителям; жители Шяуляя не сдали билеты на его концерт, которому помешала смерть. И ровно через 3 года, в тот же день и час, когда концерт был назначен, открылся занавес, и появились мы, друзья Андрея. Мы вернули за мертвого долг, живые зрители отблагодарили его, значит, он жив и смерти нет. К сожалению, есть опасность заблывания имени Андрея, как это случилось с Володей Высоцким. На Ваганьковском кладбище вы можете увидеть указатель: «К Миронову». Мне Шура Ширвиндт расска-

— Существует ли, по-вашему, согласно терминологии Маяковского, «схема смеха», смысл которой в разрушении идиомы, стереотипа?

— Наверное, существует, хотя я ею никогда не пользовался. У Бахтина есть книга о смеховой культуре, у Фрейда — теория смешного. Это наукообразная попытка прологифмировать юмор. А человек идет от интуитивного восприятия смешного. Наш смех — не разрушение стереотипов, а стремление к гармонии. Как заметил Станислав Ежи Лец, смех восстанавливает то, что разрушил пафос... Впрочем, я давно предлагал заниматься с детьми в школах — делать, скажем, один урок юмора в неделю. Просто рассказывать им анекдоты, объяснять, что смешно, что не смешно, знакомить с юмором других народов. Например, татарский юмор — совершенно другой; прибалтийский — анекдоты о Кинзиолесе — очень трудны для понимания русскому человеку. Или сравните еврейский юмор с русским...

— Мне кажется, наши юмористы возвели юмор в некий абсолют: если, мол, у человека есть чувство юмора — он полноценный, если нет — достоин сожаления. А вот два «наоборотных» примера: великий вождь всех времен и народов, говорят, был не без юмора, а у Льва Николаевича Толстого его как будто не было.

— Чувство юмора — одно из качеств человека, не более того. Есть люди умные и остроумные. Умный — это человек, имеющий определенную эрудицию, объем знаний, понимание вопроса. Но если в нем нет остроты для выражения мыслей, он превращается в зануду. Другая крайность — острота без ума, некая весельчачковость. Как-то я спросил у зала про одного сатирика: как вы к нему относитесь? Мне ответили: не очень. — Но вы же смеетесь, когда он выступает! — Смеюсь, но не уважаем, — был ответ. Это очень точно сказано. Человек, даже смеясь, каким-то внутренним центром оценивает фактор юмора. Подлинный юмор глубок. Что касается юмора злодеев — Сталина, Чингисхана, Гитлера — это целая тема. Но это, говоря, скажем, о Сталине, — шутки пахана, главаря. Люди, побывавшие в лагере, знают, что у воров в законе, сидевших на нарах наверху, был этот юмор — покровительствующего хама. Подчиненные, в данном случае сокамерники, боясь пахана, воспринимают этот юмор с удвоенной энергией. Так же и воспринимались его окружением и шулки Сталина. Восставать против этого юмора было, во-первых, опасно, во-вторых, не хотелось казаться человеком, не понимающим юмора... Злодеи могли быть и просто остроумными, подавать меткие реплики. Жанр ведь не имеет знака плюс или минус, он сам по себе... Что касается отсутствия юмора, иронии у Толстого, в том числе по отношению к самому себе, для меня оно лишь огорчительно.

— Вас никогда не останавливала фраза Мандельштама: «А чего острят, и так все смешное?»

— Нет, не останавливала. В самом произнесении этой фразы тоже есть своеобразная юмористика, — в конце концов, юмор и фиксирует все смешное и нелепое. Наша жизнь замечательна по парадоксальности, но перешла даже какую-то грань, ибо уже над совершенно очевидно смешным не смеются.